

— парики —

12 — «Русская мысль» — №4188 — 11—17 сентября 1997

## КНИГИ И ЛЮДИ

«Стих занозистый,  
душу скребущий»

Поэзия Льва Лосева

Так заканчивает свое стихотворение о Державине поэт, написавший немало стихотворений о других поэтах, о писателях, вообще о литературе, — наверное, самый «литературный» поэт в нашей словесности Лев Лосев. И так можно было бы сказать о «стихе» самого Льва Лосева — о его стихе и о его стихии, стихии необузданного сарказма и вполне естественно уживающегося с ним лиризма. А порой лиризм вытесняет все сарказмы и все занозы: «Ни бумаги не надо, / ни карандаша, / только б сыпало инеем с веток, / да повистывая б, / погуляла душа, / погуляла б душа напоследок». Пусть эти строчки послужат примером лирики в стиле «песни без слов» у Лосева, а то ведь именно словами, с л о в ц о м, избыточностью его славится Лосев, неуемным остроумием, переводящим «песню» в шутку, каламбур, но на самом-то деле и он не так уж редко впадает в «ересь простоты», пусть и не «неслыханной» (мечта Пастернака).

Очаруйтесь насмерть пейзажем русского языка, и вы объяснитесь России в любви языком, каким с ней до сих пор не разговаривали:

Стоит позволить ресницам закрыться,  
и поползут из-под сна-кожуха  
кривые карлики нашей кириллицы,  
жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! — как объяснить им попроще,  
нечисть счищая с плеча и хлеца  
веткой себя, — и вот ты уже в роще,  
в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единоверца,  
не разберешь — человек или зверь.  
«Е-ё-ю-я», изъясняется сердце,  
а вырывается: «ь, ы, ь».

Кто еще преподнес Музе в подарок  
столь невиданного зверя: с хвостом н е  
с л ы х а н н о й рифмы? Любите талантливо  
и пишлите талантливо. «Все прочее  
— литература» (Верлен).

Кстати, о «литературе» у Лосева — не в верленовском смысле литературы как антипода поэзии, а о литературе в виде текста, насыщенного цитатами, аллюзиями, литературными и словесными играми и прочими пресловутыми приметами постмодернизма. Не говорят ли процитированные выше «Тринадцать русских», что иная словесная игра может быть именно той музыкой, что с легкого языка Верлена («За музыкаю только дело») стала эталоном качества стиха? И хотя наш век играет другую музыку, поет другие песни, сам эталон все еще эталон. А чем литературная игра хуже словесной? Если ничем, то тогда с цитатами, чужими голосами, всем тем, о чем Лосев говорит в «Подражании», в этой свалившейся нам на сердце песенке «смертника» от литературы, совсем легко разобраться:

Как ты там смертника ни прихорашивай,  
осенью он одинок.  
Бьетесь на ленте солдатской оранжевой  
жалкий его орденюк.  
За гимнастерку ее беззащитную  
жалко осину в лесу.  
Что-то чужую я струнку пощипываю,  
что-то чужое несю.  
Ах, подражание! Вы не припомните,  
это откуда, с кого?  
А отражение дерева в омуте —  
тоже, считай, воровство?  
А отражение есть подражание,  
в мрак погружены ветвей.  
Так подражает осине дрожание  
красной аорты моей.

Льву Лосеву недавно исполнилось 60 лет, а вышедший в прошлом году в Петербурге, в издательстве «Пушкинский фонд», сборник стихов «Новые сведения о Карле и Кларе» — это его первый сборник на родине. Но тут не столько советскую власть надо винить, сколько самого поэта: стихи он вообще начал выводить в свет ближе к сорока годам, только когда всерьез стал принимать их за стихи, когда сам услышал в них незнакомый ему голос. Об этом упоминает он в предисловии к своему самому первому сборнику «Чудесный десант», вышедшему в Америке, в издательстве «Эрмитаж». В пятидесятителетие новоспеленного стихотворца в том же издательстве вышел «Тайный советник».

Много ли мы знаем таких поздних стартов? Лосевского уровня, может быть, ни одного. Лосев всех перехитрил, у него нет ни одного «никакого», «не своего» стихотворения, все с головы до пят — левосевские. Есть, конечно, и у него менее удавшиеся вещи, но ничего от ученичества и подражательности юно-

шеских или занудства проходных стихов в них нет. Как правило, они грешат, на иной вкус, некоей неконтролируемой резвостью слова, безоглядным озорством, что-то в них есть от детей, в принципе не способных «сидеть тихо». Отырывается «нерастрченная молодость»?

Его сознание явно карнавальное, добрая доля его стихов — это перевертыши, оборотни, табу здесь не существуют. С классиками он особенно непочтителен; что угодно с ними сотворит, лишь бы не дать им забронзоветь. Он строго блюдет закон сохранения энергии, преобразуя страдание в то же количество веселия духа.

Поскольку он двулик (Лев Лосев и «Левосев», поэт и не-поэт «Левосев не поэт, не кифаред!» — лирик и сатирик, традиционалист и авангардист, модернист и постмодернист, словом, «лев» и «лось», как намекает его имя), то и музыкально он двуприроден: «серьезная» (классическая и новая) музыка сменяется легкой — интермедком в форме анекдотов, эпиграмм, баек.

А может, он поэт как раз в первоначальном значении этого слова, особенно если чуть снизить тональность перевода с греческого: не «творец», не «создатель», а, скажем, «изготовитель», «делатель» — как еще и буквально («maker») перевел «поэта» в незапамятные времена английский язык и все еще хранит это значение в своем словаре для устной риторики?

«Левосев не поэт» — he is a maker.

Над созданием Лосева-поэта хорошо поработала и эмиграция. Вслед за Курприним в «Олесе» уподобим ее действие на поэта действию ветра на костер (Курприн, правда, говорил о любви и разлуке — фактически о том же): малый поэтический дар эмиграция гасит, большой разгорается на ветру разлуки с родными краями. И левосевский поэтический огонь занялся с хвороста ностальгии. Интонационно эти стихи занимают полный спектр от смеха до слез, от беспощадности памяти до сдачи на милость чувств, над коими не властен: «И по такой, грущу по ней». А по какой (родине)? В первую очередь, честно и пристально вспомненной, не приукрашенной, не прощенной, когда простить нельзя, и прощенной, как только можно. Не забываемой и незабываемой. Никто из поэтов послевоенной эмиграции не создал столь живой образ «застойной» России, какой она видится на расстоянии, осмысливается по западную сторону железного занавеса. «Тоски по родине», и порой гениальной, в поэзии всегда хватало и хватает, но вот родину, вызывавшую тоску и на родине, кто еще увековечил в длинной веренице стихов, дарящих столь острую радость узнавания?

Основной прием у него здесь (да и вообще это его корневой подход): преобразование как любви, так и ненависти и порожденной их столкновением боли — в смех, порой примечательный своим добродушием, как, например, в уморительно «Ультиматуме», где герой из-за океана грозит отобрать у России «окно в Европу» за использование не по назначению, когда ему так его нехватает в Америке!

Одиночество, разумеется, «самая эмигрантская» тема, как здесь взять «ноты выше»? Лосев берет — как всегда непредсказуемо — в заключительных

строфах стихотворения «Гости»:

«А, может, еще на посошок?»  
«Да нет, нам пора в дорогу.  
А ты бы, что ли, лампу зажег,  
зажег бы ее, ей богу».

Простыл на снегу протектора след.  
Я посуду вымыл и вытер.

А свет — для чего мне включать этот свет,  
чего я при нем не видел?

(Если читатель сочтет мою оценку преувеличенной, то прошу ее считать отступлением критика от своих обязанностей в пользу голого эмигранта.)

Смелость языка, питающаяся мужеством мировидения, «мужеством быть», отличает многих подлинных поэтов нашего страшного времени; у Льва Лосева этот сплав зримо выстрадан и определяет его позицию художника. Фактически манифест ее можно услышать в третьей части «Сонатны безумия»:

Портянку в рот, коленкой в пах, сапог  
на харю.

Но чтобы сразу не подох, не додушили.  
На дыбе из вонючих тел бьюсь,  
задыхаюсь.

Содрали брюки и белье, запетушили.

Бог смял меня и вновь слепил в иную  
особь.

Огнеопасное перо из пор поперло.  
Железным клювом я склевал людскую  
россыпь.

Единый мелос торжества раздул мне  
горло.

Се аз реку: кукареку. Мой красный  
гребень  
распространяет холод льда, жар  
солнцепека.

Я певень Страшного Суда. Я юн  
и древен.

Один мой глаз глядит на вас, другой  
— на Бога.

Такая вот реинкарнация Орфея в конце XX века. Называется это *allegretto*, — «Шантеклером», и можно вспомнить другого «Петуха», певшего не на закате, а на восходе нашего века, — «Шантеклера» Ростана. Там поэт в образе птицы, každодневно провозглашающей утреннюю зарю, решает проблему осознания, что не благодаря его «кукареку» восходит солнце. Что нужно все равно оповещать об этом мир, хотя и обидно, что не ты даруешь ему жизнь. Ну, ростановский «Шантеклер» — это благоухание, сияние, ликование чувства и слова. Разность эстетик двух «Шантеклеров» равна падению — в безумие — этики нашего века. Так работает Лев Лосев — четко. (Параллельно с падением этика нашего века знает и взлеты, но поэты, вдохновляемые ими, чрезвычайно редки. А жаль.)

Прежде чем поэт пишет, он читает: книги, жизнь, людей, свое «я» — «букву в поэме, нитку в рядне», и если никому не прочесть поэму бытия человечества от начала до конца и язык ее непереволим, то ведь есть еще и язык, внятный нам, — так сказать, язык лирических отступлений в космическом эпосе, тоже бессмертный, тот самый, к которому каждый имеет непосредственное отношение, да и обязанность. «На пережное душ и книг / сам по себе живет язык». В том числе поэзия Льва Лосева.

ЛИДИЯ ПАНН

Пекек



Лев Лосев. Рисунок Иосифа Бродского.

Лев Лосев

чудесный десант

СТИХОТВОРЕНИЯ